

ЛУИ ВАН ДЕЛЬФТ

Моралисты в западне: ко(с)мическая хроника¹

Так как читатели потребовали от меня более точных сведений о планете Моралия, где я имел счастье встретить месье Эразма и мадемуазель Глупость², я постараюсь вкратце рассказать вам далее о моих приключениях и (зло) счастьях.

Модные философы

Вернувшись с Сириуса и промчавшись по орбите Меркурия, я ощущал себя все более чужим на родном земном шарике. Прозвище Растерянный, а лучше сказать — Более-чем-Растерянный [Plus-que-Perplexe], которое дражайшая маман дала мне в первые годы моей жизни, отметив мою крайнюю медлительность в понимании «жизненных вещей» (как это называл почтеннейший месье де Лафонтен), теперь так же хорошо шло мне, как перчатки. Для меня худшим злом всегда было уяснять самые ходовые выражения, слова на все случаи жизни. Например, такой простой вопрос «Как дела?» всегда ставил меня в неизъяснимый тупик. Что там вообще делает это «как», это гадкое слово, этот кашляющий урод? Его уже так запользовали, что в прожилках засело. А так как я всегда отличался меланхолическим темпераментом, то мне с детства все время внушали: «Нужно уметь брать жизнь [такой, какая она есть]». И что же это, по сути, должно означать? «Бери десерт», «возьмите вашу тетрадь» — это я понимал. «Не берите это так близко к сердцу и к печени» — как говорит там месье Монтень, это я тоже понимаю: с тех

¹ Опубликовано в: *Commentaire*, no. III, 2005. Текст написан в продолжение «Маленьких человечков» (*Commentaire*, no. 109, 2005), за ним последовал «Психоаналитики на продажу» (в: *Sur La Rochefoucauld. Freud et Karl Kraus (Pys à vendre)*). Rome: Biblink Editori, 2007).

² См. «Маленькие человечки» (*Commentaire*, no. 109, 2005).

пор как мы миновали кольца Сатурна, нам известно их пагубное воздействие на тело! Но «брать жизнь»? В романах я, бывало, встречал выражение «взять женщину», а порой — «он ее взял». Так была ли жизнь женщиной? Однажды я прочел у Золя: «Он взял ее как гулящую девку». Так что же, жизнь была гулящей? С какой стороны подступиться к этому «брать»? Как с этим «иметь дело»? (Вечно эти каждодневные слова, самые затертые, самые заношенные, самые скособоченные.)

По возвращении, принужденный «иметь дело» с земным шариком, я набросился на книги современных наших мыслителей. Разве это не естественно? Только о них и слышно. Весь мир их чувствует, а мы им завидуем. Повсюду распространяется их мудрость. У них на все есть ответ, а значит, они всё знают, говорю я себе. Исполненный доверия, я обращаюсь к ним.

— Друзья мудрости, — говорю я им, — я чувствую себя тут совсем потерянным. Буду вам очень признателен, если скажете — вы, кто знает, о чем: как следует братья за человека, мир, жизнь?

Я набрался смелости и обратился к самому прославленному из них, месье Сартру.

— Человек, — произнес он, — это бесполезное страдание.

Такой ответ трудно было превратить в жизненное руководство. Я снова обратился к его ученым спутникам.

— Друзья мудрости, — говорю я им, — где, право, мы сейчас находимся? Если это пресловутый театр мира, то он больше похож на мрачный театр теней. Но будьте так со мной любезны, объясните мне. Ибо, кажется, я попал в дурное место, если не сказать в ловушку.

Приободрившись, я подошел к месье Фуко, светилу Коллеж де Франс.

— Я возвещаю вам, — произнес он, — о смерти человека.

В этом меня не смог убедить даже столь знаменитый ум, потому я снова прибег к вождям мысли.

— Учителя человечества, — говорю я им, — я достаточно изучил тех, с кем вместе приходится плыть на этой галере: почти на всех лицах я читаю лишь жажду господства, жестокость, отвращение. Как же мне держать себя в этом плаваньи? Как нужно брать ее, жизнь?

Я обратился к самому известному из иностранных философов, как меня уверили, оракулу, месье Хайдеггеру. Он долго молчал.

— Ничто, — произнес он в конце концов, — ничто существует. Das Nichts nichtet.

О дальнейшем рассказывать не буду. Их ответы по-прежнему били мимо цели, мимо существования. *Из этого следует* (как они любят говаривать): пускай они лучше сами развлекают друг друга. Это ведь друг другу они дают представление. С поразительной точностью они вычислят расположение телекамер и просто вывернутся перед ними, представляя лицемернее министров и жеманнее примадонн. В крайнем смущении я осознал, что разочаровался в мудрости. Неужели! Считать своими

друзьями тех, кто несет галиматю, торгует чудодейственным порошком, напыщенных проповедников, которые ходят колесом перед телекамерами! Что же это были за ужимки, что за антраша эдакой сугубо медийной, сугубо *бесстыдной* философии? Симулякр? Что же произошло с мудростью, отчего она стала продажной, как последние перипатетики?

Я худел и хирел. «Должно же ей найтись верное применение», — повторял я. Но сам припустил изо всех сил вдогонку за мадемуазель Глупостью. «Приходи ко мне, когда пожелаешь, — бросила она мне, хохоча, перед расставанием, — и я тебе покажу другие игры, игры князя». Факультет расписался в своем бессилии, и меня потащили к известнейшему магу. Я все вертелся и ворочался на кушетке, лаканизированной по последней моде. Наконец, откашлявшись, я отвернул манжету, протянул руку и выставил ладонь вперед. И тогда маг произнес:

— Из разбитого яйца получается Человек, а может даже и Женщинка³.

Несколько моих друзей заволновались, задвигались, и я заметил у своего изголовья великую жрицу, которой молва приписывала сверхъестественные способности. И хотя прежде никто не мог попрекнуть меня, будто в моей внутриутробной жизни я убил своего отца и даже счастливейшим образом сотворил все, что следовало, с моей бедной маман, я был долгитизирован всеми возможными способами⁴.

Прочь!

Желание вновь соединиться с месье Эразмом — и особенно с мадемуазель Глупостью — стало почти болезненным. Я пытался ему воспротивиться, но оно меня не оставляло: это было подобно воздушной тяге, я был словно бы намагниченный, влекомый в эфирное пространство. Я все завидовал циркачам на трапециях, эквилибристам, прыгунам с шестом или канатоходцам, акробатам, сомнамбулам, всем тем, кто меньше прочих связаны с миром, пребывая в невесомости. Меня не покидало гадкое впечатление, что я уже видел эту комедию с начала и до конца. Всеми своими силами я желал оказаться в объятиях той, кто, раскати-сто хохоча, позволила мне взглянуть на землю «с нужного расстояния» (как говорил почтеннейший де Лябрюйер), заставив меня добрый десяток раз обернуться по ее орбите и даже позволив мне разглядеть там нечто комическое.

³ «A casser l'œuf se fait l'Homme, mais aussi l'Hommelette» — фраза Лакана, основанная на игре с почти изобретенным им словом «hommelette» («женщинка»), созвучном слову «омлет». — *Прим. ред.*

⁴ Неологизм автора «долгитизировать» происходит от имени популярного медийного педиатра Франсуази Дольго, которую часто представляют как автора, «ответившего на все вопросы» о детях. Именно она выведена в тексте как «жрица со сверхъестественными способностями». — *Прим. ред.*

Мне удалось сесть на корабль, отправляющийся к неведомым звездам, за триста девятнадцатый Млечный путь, что не было большой проблемой. Одна лишь мысль о подъеме меня успокаивала. В иллюминаторе я увидел, как мэтры философии в исступлении дрыгаются, творят непотребства и красуются перед камерами пуще прежнего. Бернар-Анри Леви так вертелся и кривлялся, что даже зубы его нельзя было отчетливо разглядеть. Мэтры приветствовали мой отлет разными шуточками и сальными жестами. Я был на вершине блаженства, что покидаю столь бесплодную землю, алчущий счастья. «Какое блаженство! — воскликнул я. — Прощай, убогий шарик, прощайте, месье философы!»

Моими спутниками в этом путешествии стали «нефтяники» из ELF-Аквитании, борцы за права человека, специалисты по клонированию человека, добрый десяток производителей и даже торговцев оружием. Наш полет продолжался благополучно первые три года. Он создавал прекрасную качественную невесомость, величественное высвобождение из земных оков, от которого на земном шарике нас избавляют только сновидения. Однако до пункта назначения мы так и не добрались. В каких-то десяти миллионах километров от ковша Большой Медведицы наш кораблик сорвался со своей орбиты и рассыпался на тысячи мелких кусочков в черной дыре. Все мои спутники погибли, лишь я выжил в кораблекрушении. Благодаря кодированному сообщению, которое я наверняка получил от Глупости, мне удалось установить правильный курс на своей спасательной капсуле. И вот, преодолев более тридцати миллиардов световых лет, я снова вступил на планету Моралия.

Увы, ни следа моей подруги! Вообще, ни одной живой души. Всюду скаредный пейзаж, насколько хватает взгляда. Я блуждал целых десять дней и десять ночей. Изможденный, я ударился о большую бочку, прибившуюся на краю канавы. Внутри — человеческая форма жизни, волосатая и грязная. Никакого ответа на мои лихорадочные вопросы. Эта форма бормотала: «первое истребление... девяносто процентов видов... шестьдесят пять миллионов лет... исчезновение динозавров...» Погруженный в свои расчеты, одержимый даже не поднял глаз. Оскорбленный совершенной его нецивилизованностью, я потребовал указать, где находятся мои друзья. Наконец он поднялся, обратившись ко мне всей своей фигурой... фигурой скорее не человека, а собаки. Внезапно он зарычал:

— Слишком поздно, гомункул! Убирайся! И поскорее! Проваливай на свой земной шарик!

Резким движением он достал со дна бочки фонарь и поднес прямо к моему лицу (хотя был ясный день):

— Ради Зевеса, это еще хуже, чем в Афинах, хотя и минуло больше двадцати веков! Ни одного настоящего! Человека, найдите мне хотя бы одного, кто был бы просто человеком! Вы забыли всякую меру! То, что с вами происходит, — поделом! Хорошо же вы искали! Вы только смеялись нам в лицо! Вы нас оставили в этой дыре! Нет у вас больше ни кар-

ты, ни астрологии с компасом! Вы все окунулись в смутные верования, в чад речей, в варварские идеологии, разрушительные для ума и души! Вы совершили жестокие и непростительные преступления. Вы утратили всякий стыд. Вы уже не знаете, к кому и к чему вам стремиться. Вы целиком в «культуре предприимчивости», «культуре воздаяния», «культуре наживы»! А что же дорогой Цицерон, кто говорил с вами о «культуре духа»?! А дорогой Монтень, кто говорил с вами о «культуре души»?! А мы, кто возлагал на вас такие надежды?! К чему были все эти наши поиски добра, истины, красоты, что извлекли вы из всего нашего к вам дружеского отношения? Возвращайся-ка к своим могильщикам культуры!

Мне хотелось его перебить. Но он бушевал, как ураган:

— Вы все испортили, вплоть до величественного звания, нам дарованного! Вы жертвы самого нелепого недоразумения! Горе вам! Вы полагаете, будто «моралист» означает «морализер», «проповедник». А ведь это мы, истинные философы, «философы жизни», как говорит наш друг Дильтей, «зрители жизни», как говорит друг Монтень! А вы, бесформенные, безвольные, все более и более неблагодарные, безрасудные, скучные! Вы смеете зевать, как только вам напоминают о нас, классических моралистах, греках, римлянах, настоящих европейцах, настоящих ученых, настоящих знатоков жизненных дел! А вы гниете в своем неведении, и это вовсе не то благое неведение, которое себя сознает, но дремучее и наглое невежество. Вы дрыхнете на сундуках с сокровищами! Месье Паскаль говорит даже, что в вашем сне, вашем отупении есть уже что-то сверхъестественное. Вы имеете очи и ничего не видите! Вы имеете уши и глухи, как горшки! А мы проповедовали в пустыне. Метали жемчуг перед свиньями.

— Месье, — говорю я, потрясенный до мозга костей, — я и прибыл сюда, рискуя жизнью, как раз для того... чтобы научиться.

— Ха! От кого еще! Тебе больше по нраву подружка Эразма! Но предупреждаю тебя, она совершенно чокнутая. Сходи к Мишелю Онфре! Анархист, «гедонист и грамшианец» — вот философ в твоём железном веке! Пусть он станет твоим проводником! Он знаменитый учитель жизни! Да, он «торговец мечтами», как его назвал наш Ален, настоящий философ, но он по-настоящему «бдит умом».

Передо мной был аятолла, вроде месье Тертуллиана и его сообщников, которые в прошлый раз приняли меня весьма враждебно. Но не обращался ли он не столько ко мне, Растерянному, сколько через меня к модным мудрецам, каковые столь сильно разочаровали и меня самого? А он продолжал метать громы и молнии:

— Вы все получили на серебряном блюде! Все вопросы, которые вы разбираете, больше того, даже те, что вы еще не способны поставить, вопросы о смысле вашей жизни, о человеческом пути, о той партии, которую вам надлежит сыграть в театре мира, о добре и зле, долге, чести, блаженстве... все это мы для вас уже обтесали, осветлили, прояснили, все это мы преподнесли вам в наших писаниях, шедшими нарасхват...

Вы же на это полностью положили, несчастные! Лозунг, которым вы все решили руководствоваться, прямо как этот пресловутый Тапи: «На рассуждения моралистов я кладу совершенно». Выметайся, гомункул, у меня много дел, а ты мне мешаешь. Мне нужно продолжать свои подсчеты. Еще есть надежда. Я читал Хьюберта Ривза. Пять истреблений жизни было до сей поры. Следующее может стать тем самым. Тогда наконец мы избавимся от всех вас. Отойди, не заслоняй мне солнца, увалень! Не хочу иметь больше ничего общего с вашим отродьем! Справляйтесь сами! Я уже достаточно дал. Не надо было нас бросать!

С необычайной резвостью он скрылся в бочке. Я считал его случай безнадежным. Я поднял свой узел. Он был уже весь покрыт его подсчетами. Я различил каракули: «Плюс десять миллионов лет... истребление от падения метеорита... Новое вымирание: еще тридцать пять процентов видов... Человек тогда точно останется лишь ископаемым!» Я ринулся прочь как можно скорее. На перекрестке дорог я заколебался, вернуться во все стороны. И — о, утешительные противоречия человеческой природы! — сумасброд высунул руку из своей бочки и указал, в каком направлении надлежало двигаться.

«Невидимый колледж»

После многих часов ходьбы и встретил кряжистого старика, сидящего на валуне, чья подзорная труба была наведена на Землю. Дав мне немного отдохнуть, он потребовал рассказать ему о моих приключениях.

— Приключениях? — возмутился я. — Да скорее уж злключениях! — И я ему поведал, одно за другим, обо всех приключившихся со мною несчастьях, о вздорности притворных друзей мудрости — и так вплоть до неласкового приема, оказанного мне бочкожителем.

— Вы даже не знаете, сколь счастливы, что прибыли к нам. Все прочие планеты столь же неблагоприятны, как и Земля, но здесь, в ожидании случайного корабля, на котором вы смогли бы продолжить свое путешествие или, если того пожелаете, вернуться домой, вы можете вполне насладиться совершенно уникальной перспективой.

Я попросил его в свою очередь поведать мне историю его жизни.

— С большой охотой, — согласился он. — Много слов не понадобится. Я появился на свет в Лондоне, в 1711 году, в правление Анны Стюарт. Сегодня мои родители, месье Джозеф Аддисон и месье Ричард Стил, относятся к числу позабытых знаменитостей. Но нужно знать, что в свое время и тот и другой пользовались весьма лестной репутацией. Уверяю вас, что все это благодаря мне. Вся Европа восхищалась, передавая из уст в уста, тем редкостным характером, который я от них, несомненно, унаследовал. Меня называли тогда Мистером Наблюдателем⁵. Совер-

⁵ Стил и Аддисон, редакторы ежедневного листка «Spectator» (1711–12), вместе с несколькими его авторами, писали заметки от лица вымышленного персонажа Mis-

шенно точно, что я всю свою жизнь не оставался даже на малую долю секунды без того, чтобы не понаблюдать за человеческим родом. Столь же верно (и это подтверждают слухи), что я целых пятьдесят лет кряду каждый день посещал одну и ту же кофейню, не обратив ни слова ни к кому из посетителей, всякий раз прячась за газетой, чтобы лучше всех разглядеть. За это столь упорное исследование, после отведенного мне земного пути, я был возведен в достоинство почетного гражданина тех мест, где мы находимся в настоящее время. А на следующий год меня избрали бессменным секретарем «Невидимого колледжа», основанного славнейшим канцлером Бэконом, со всеми причитающимися правами и привилегиями.

Он остановился. Я, кажется, увидел искорку лукавства в его взгляде. Я стал упрашивать, чтобы он подробнее рассказал мне о «наблюдателях жизни» и о его колледже со столь удивительным названием. Но он упорно хранил молчание. Я внимательнее посмотрел на этого господина. Ничего так не поражало в нем, как взгляд. Сколь бы он ни пытался умерить силу и яркость взгляда, чтобы сделать его менее пронзительным, было понятно, что именно в нем сосредоточена вся его жизнь. Благодаря несомненному усердию и дисциплине, он, казалось, научился повелевать своими глазами, более того, господствовать над ним, сдерживая, приручая свой безмерный аппетит к разглядыванию, свою паноптическую страсть. Этот человек был Оком. Можно сказать, что он впитывал, иссушал весь мир своим взором.

Он заметил, — конечно же! — что и я пытаюсь его рассмотреть.

— Вам угодно знать о Наблюдателях Жизни, — произнес он наконец. — Вы уже оправались от усталости? Достанет ли вам сил следовать за мной? Мы всегда готовы предоставить кров случайному путнику. Да только таких пока не было. Что же, странник, добро пожаловать в наш колледж!

*Перевод с французского Александра Маркова
под редакцией Александра Бикбова*

ter Spectator, т.е. Мистер Наблюдатель. Заявленной целью издания было «оживить мораль остроумием и смягчить остроумие моралью... привести философию... в клубы и собрания, за чайные столики и в кофейни». — *Прим. ред.*